

**ИЗ «ЛЕКЦИЙ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА 1932–1935 гг.»
(по записям Алис Эмброуз)**

От переводчика. В зимнем семестре 1933/34 г. Л. Витгенштейн диктовал группе студентов текст, впоследствии ставший известным как *Голубая книга* (См.: *Витгенштейн Л.* Голубая и коричневая книги. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008). В это же время он продолжал читать лекции. Идущий ниже текст, так называемая *Жёлтая книга*, составленный Алис Эмброуз, представляет собой выборочную публикацию записей лекций и неформальных обсуждений, непосредственно предшествующих диктовке *Голубой книги* и продолжающихся в интервалах между диктовками. Как и следовало ожидать, большинство проблем, рассматриваемых в *Жёлтой книге*, совпадают с проблемами *Голубой книги*. Важно, однако, что в *Жёлтой книге* многие из этих проблем сформулированы более отчётливо. Кроме того, здесь обсуждаются ряд тем, которые отсутствуют не только в *Голубой книге*, но и в других текстах Л. Витгенштейна.

Перевод выполнен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 07-06-00185-а по изданию: Wittgenstein's lectures, Cambridge, 1932–1935. – Oxford: Basil Blackwell, 1979. – P. 43–73.

В.А. Суровцев

**ЖЁЛТАЯ КНИГА
(избранные части)
1933–1934**

I. Лекции, предшествовавшие диктовке *Голубой книги*

1. Мнение Шопенгауэра, что философия есть организм и что книга по философии с начала и до конца есть своего рода противоречие, содержит долю истины. Одно из затруднений с философией заключается в том, что нам недостаёт сводной точки зрения. Мы встречаемся с затруднением того рода, которое бывает с географией страны, карты которой у нас нет или же её карта фрагментарна. Страна, о которой мы говорим, – это язык, а география – его грамматика. Мы вполне можем прогуливаться по этой стране, но когда нас заставляют сделать карту, у нас не получается. Карта будет демонстрировать различные дороги, пересекающие страну, любую из которых, хотя и не две сразу, мы можем проследить, так же как в философии мы должны рассматривать проблемы одну за другой, хотя фактически каждая проблема ведёт к многообразию других. Мы должны выжидать, пока вернёмся к исходной точке, до того, как сможем перейти к другому разделу, т.е. до того, как сможем подробно обсудить проблему или перейти к другой. В философии проблемы не столь просты, чтобы нам было достаточно сказать: «Составим приблизительное представление», ибо нам неизвестна эта страна, за исключением знания связей между дорогами. Поэтому как

средство исследования связей я предлагаю повторы. Я начну с обсуждения проблем, связанных с пониманием, мышлением, значением. Моё исследование не будет психологическим, даже если предложение в некотором смысле мертво, пока оно не понято. До того как предложение понято, оно представляет собой чернила на бумаге. Можно сказать, оно имеет значение, только будучи понятым. Если бы никто не понимал знаки, мы не назвали бы знаки языком.

2. Слово «значение» играет в философии большую роль. Его важность очевидна в дискуссиях о природе математики. Фреге высмеивал людей за то, что они не видят, что значение знаков «1», «2», «3» и т.д. является важной вещью, не закрючками на бумаге. Странно, однако, что люди имеют склонность, слыша существительное «число 1», мыслить его значение как нечто такое, что находится за знаком и соответствует ему тем способом, которым Смит соответствует имени «Смит». Разумеется, есть смысл, в котором мы можем говорить о значении, но в котором мы не можем говорить о закрючке. Мы употребляем слово «один» способом, которым не употребляем фразу «знак 'один'». Бессмысленно, например, спрашивать, где находится число 1. Этот комментарий может быть тривиальным, как и все комментарии, которые мы будем делать; но видеть их все вместе не тривиально.

Полезно говорить о шахматах, которые подобны математике, но преимущество которых заключается в отсутствии ореола математики. [И математика, и шахматы вызывают сходные вопросы и сходные замечания. «Что такое шахматный король?», «Что такое число?»; «Правила шахмат относятся к шахматному королю, а не к фигурам из дерева или слоновой кости», «Правила арифметики относятся к числам, а не к знакам на бумаге».] Странно, что, когда спрашивают: «Что такое шахматный король?», некоторые люди мыслят бесплотную сущность, отличную от этой фигуры. То же самое относится к вопросу: «Что такое число 1?» Вопрос вводит в заблуждение, поскольку, хотя и корректно ответить: «Не существует объекта, соответствующего '1' в том смысле, в котором существует объект, соответствующий 'Смит'», мы затем ищем объект в *другом* смысле. Это одна из полудюжины ловушек, в которые мы постоянно попадаем. Когда мы слышим существительное «число», употребляемое в вопросе «Что такое число?», мы склонны мыслить бесплотный объект. Но какого рода ответ мы можем дать на этот вопрос? Бесплезно говорить: «Дайте определение», ибо это продвинет нас дальше только на один шаг. В качестве выхода из затруднения, поставленного этим вопросом, я предполагаю, что мы говорим не о значении слов, но скорее об употреблении слов. Предположим, мы принимаем, что значением слова является *способ его употребления*. Употребление фразы «значение слова» как эквивалент фразы «употребление слова» имеет, среди прочего, то преимущество, что оно кое-что продемонстрирует нам о странных философских случаях, где мы говорим об объекте, соответствующем слову. Обычно мы говорим, что объект соответствует слову там, где для того, чтобы объяснить слово, мы указываем на объект, т.е. даём остенсивное определение. Есть слова, значения которых мы можем задать, указывая на их носителей. Фреге сказал бы, что объект является значением. Но слово «значение»

не употребляется каким-то таким образом. Фраза «значение имени» – это не то же самое, что «носитель имени». Последнее можно заменить на «Ватсон», но не первое. Очевидно, что фраза «употребление слова», если она принята за определение «значение слова», не заменима на «носитель слова».

Может показаться, что мы могли бы дать оstenсивное определение слову «Ватсон», но не «1». Но это неправильно, поскольку мы также можем дать оstenсивное определение «1». Остенсивные определения, конечно, различны. Фраза «ostenсивное определение» употребляется во многих различных смыслах. Остенсивное определение «1» включает указание иного рода, чем оstenсивное определение «объекта», хотя в обоих случаях можно указать на одну и ту же вещь. На самом деле оstenсивное определение вообще не является определением. Остенсивное определение является только одним из правил употребления слова. А одного правила недостаточно, чтобы задать значение. Например, из «Это – сош» вы бы не поняли употребление слова «сош», хотя вы поняли бы его из «Этот цвет есть сош». То есть если человек должен усвоить значение слова из такого определения, он уже должен знать, какого рода вещь оно обозначает. Слово «цвет» уже фиксирует употребление слова «сош». Остенсивное определение употребляется, если вам нужно заполнить только один пробел.

Предполагалось, что *род* плюс *отличительный признак* эквивалентны оstenсивному определению. Это обильный источник ошибок. Как мы должны решать, что такое род? Есть склонность считать, что если для некоторого числа вещей используется родовое имя, то у этих вещей должно быть нечто общее. То, что вещи должны иметь *одно* родовое имя, факт достаточно странный. Общее убеждение заключается в том, что определение родового имени может задать общую характеристику вещей, для которых употребляется это имя, например, всё то, что называется играми, имеет нечто общее, общее, которое может быть задано определением «игры». Это представление – ловушка. Наш язык сконструирован по очевидно простой схеме, поэтому мы склонны рассматривать язык как нечто намного более простое, чем он есть: мы смотрим на некий объект, когда видим языковой знак; мы мыслим то, о чём упоминаем, как подпадающее только под один род; мы рассматриваем качества вещей как то, что сравнимо с ингредиентами смеси. Трудно избежать трактовки рода в качестве общего элемента, как если бы он был ингредиентом, который можно смешать с другими ингредиентами, поскольку такое представление воплощено в нашем языке. Но даже если бы у нас были двенадцать жидкостей с одним общим ингредиентом и эти двенадцать жидкостей имели родовое имя, отсюда не следовало бы, что это имя было дано из-за одного этого ингредиента. Игры, например, нельзя назвать «играми» из-за общего элемента; могут просто существовать соответствия между членами ряда игр. И может случиться так, что числом называется нечто такое, что не имеет ничего общего с каждым видом чисел, но только с числами трёх видов. Следовательно, если вы ищете оправдание употреблению родового имени, вы не должны искать общее качество, которое имеют все именуемые им вещи. Значительные недоразумения возникали, например, потому, что люди считали, что нечто общее есть у всех вещей, называемых «благо».

Одним из важных источников затруднения в философии является то, что слова выглядят очень похожими. Они объединены в словаре, как инструменты в ящике, но подобно инструментам, выглядящим достаточно похожими, они могут иметь огромное количество различных употреблений. Употребления слов могут отличаться друг от друга так же, как прекрасное отличается от стула. Они не сравнимы так же, как не сравнимы покупаемые нами вещи, типа дивана и билета в театр. Когда мы говорим о словах и их значениях, мы стремимся сравнивать их с деньгами и вещами, которые куплены на эти деньги, а не с деньгами и употреблением, которое имеют деньги. Вещь, покупаемая нами за деньги, – это не то же самое, что употребление денег, так и носитель имени не является значением имени.

Вернёмся к остенсивному определению. Я говорил, что оно может быть понято, только если формирует окончательное решение относительно употребления слова, т.е. если оно дополняет знание грамматики слова, для которой не хватает одного правила. Нет причины, по которой вы не должны говорить, что остенсивное определение фиксирует отличительный признак, если остальное известно, при условии, что вы не считаете существующими только один род и только один способ фиксации рода. Но утверждение, что оно может быть понято, только если формирует окончательное решение, вводит в заблуждение и в некотором смысле ложно. Например, в детстве мы не усваиваем правило употребления слова «вода», когда нам указывают на воду или нам становятся известны другие правила, из которых это правило было последним. Конечно, мы, возможно, не должны называть это остенсивным определением, но явной границы между остенсивным определением для детей и остенсивным определением для взрослых не существует. В обучении детей есть стадии, не достигнув которых они не могут спросить: «Что это такое?», и даже когда они достигли этой стадии, они всё ещё могут быть не в состоянии спросить: «Какого это цвета?» Чтобы описать остенсивное определение, мы могли бы привести некоторое число игр, различающихся на следующие: (1) задать последнее правило из списка правил, (2) делать то, что делают дети, когда они осваивают применение слова, (3) переходить от (1) к (2) и обратно.

3. Я отмечал, что мы склонны считать наш язык много более простым, чем он есть на самом деле. Ср. с Августином, который говорил, что он осваивал латынь, осваивая имена вещей. Разумеется, он осваивал также такие слова, как «не», «или» и т.д. Мы можем критиковать его точку зрения любым из двух способов: что она ошибочна или что она описывает нечто более простое, нежели то, что мы называем языком. Последнее можно сравнить с описаниями игр, которые применяются только к специальному классу игр. Ввиду того, что наш язык является сложным, я укажу на более простые структуры, которые можно с ним сопоставить, чтобы посмотреть, какой свет они на него прольют.

Предположим, человек осваивал язык в процессе, пока люди сообщали ему имена вещей, указывая на них. И предположим, что этот язык служил только одной цели, скажем, для постройки дома из материалов различной формы. Порядок, в котором выкрикивались бы имена этих материалов,

задавал бы способ, которым должен быть построен дом. Это был бы полный язык. Для такого типа языковых игр стандарта полноты не существует, но мы можем сказать, что она полна, поскольку, глядя на неё, мы не можем сказать, что ей чего-то недостаёт. То, что мы здесь делаем, похоже на то, как если бы мы взяли шахматы и создали более простую игру, включающую более простые ходы и меньшее число фигур. В некотором смысле более простые языки ведут к более сложным языкам, но более простые языки не являются неполными.

Предположим, что после того, как нечто было сказано о Моисее, некто спросил, кто он такой, и его *определили* как человека, который вывел израильтян из Египта. Предположим, на это возразили, что было проведено исследование, которое показало, что это не так, и предложили другое определение, которое, в свою очередь, можно было бы оспорить. Замена определений показывает, что в начале спора определения слова «Моисей» не было, т.е. не начала разыгрываться точная игра. В то же самое время мы не можем сказать, что не подразумевалось вообще ничего, ибо была некоторая область определений, из которой осуществлялся выбор.

Обо мне можно сказать, что я описываю язык, как если бы он находился в вакууме, но это не так. Я просто говорю, что язык состоит из фиксированных правил, которые на самом деле противоположны фактам.

Рассмотрим способ, которым мы разыгрываем игру, и способ, которым правила входят в её разыгрывание. Могла бы существовать таблица правил, которую мы прочитываем (или которую знаем наизусть и вспоминаем, когда играем), или мы могли бы играть автоматически. То же самое и с использованием определения. Предположим, определение слова «лист» первоначально дали остенсивно



и спросили, разве очертание, скажем,



предусмотренное в определении, не было листом. Можно ли сказать, где должна быть проведена черта между правилами, которые нужно знать, чтобы понимать, что такое лист, и правилами, которые не являются абсолютно необходимыми? Предположим, некто сказал, что лист – это нечто подпадающее под следующие общие очертания:



Могло бы это служить в качестве правила? Но когда мы *употребляем* слово без строгих правил и позднее устанавливаем строгие правила его употребления, грамматика этого слова не может быть совершенно одинаковой

с грамматикой его прежнего употребления. Она была бы похожа так, как похожи фигура с чётко очерченными линиями и смазанная фигура.

Мы будем сравнивать употребление языка с разыгрыванием игры в соответствии с точными правилами, поскольку все философские затруднения вырастают из создания слишком простой системы правил. Философы пытаются свести правила в таблицу, и поэтому есть много такого, что вводит их в заблуждение, например аналогии, которые они ошибочно проводят между правилами. Единственный способ скорректировать ошибочное правило заключается в том, чтобы задать другое правило или множество правил, согласно которым они играют. Это необходимо подчеркнуть, потому что при обсуждении понимания, значения и т.д. наше величайшее затруднение связано с текучестью употребления слов. Я не буду продолжать, перечисляя различные значения слов «понимание», «значение» и т.д., но вместо этого представлю десять или двенадцать образов, которые определённым способом сходны с действительным употреблением этих слов. Способность представить эти образы не связана с тем, что все они имеют нечто общее; их отношения могут быть усложнены.

Прежде всего, я предполагал подставить «употребление слова» вместо «значение слова», потому что *употребление слова* охватывает большую часть того, что подразумевается под «значением слова». Таким образом, понимать слово – значит прийти к знанию его употребления, его применений. Употребление слова – это то, что определяется правилом, так же как правилами определяется употребление шахматного короля. И так же как форма и материал шахматного короля безразличны к его употреблению, так форма и звучание слова безразличны к его употреблению.

Я также предлагаю исследовать соотносящееся выражение «объяснение значения». Это научит нас кое-чему относительно значения «значения». Хотя может возникнуть затруднение с объяснением того, что значит «длина», не трудно объяснить «измерение длины», аналогично менее трудно описать, что мы называем «объяснением значения», чем объяснить «значение». Значение слова объясняется описанием его употребления.

Странно, что при рассмотрении языка как игры употребление слова внутренне присуще игре, тогда как его значение, по-видимому, указывает на нечто, находящееся вне игры. Это, по-видимому, указывает на то, что «значение» и «употребление» отождествить нельзя. Но это – заблуждение.

4. Примем, что «понимание слова» является знанием его употребления. Полезно сравнить аналогичные вопросы относительно понимания слова и игры в шахматы. Откуда вы знаете, что понимаете слово, например, «красный»? Откуда вы знаете, что играете в шахматы, а не в шашки? Один из ответов заключается в том, что вы бы этого не знали, если бы делали не соответствующие или ошибочные ходы в игре, в которую, как вы утверждаете, играете. Мы имели бы право утверждать, что знаем это, если бы при игре в шахматы или понимании слова правила всплывали в голове. Но правила не всплывают в голове. Критерии знания того, что вы играете в шахматы, иные. Один из критериев заключался бы в задании правил. Но если правила не двигаются как критерий, тогда что? Обычно говорят, что и игра в шахматы,

и понимание слов гарантируются знанием намерений. Но откуда вам известны ваши намерения? Является ли фактом, что существует отдельный психологический процесс, соответствующий отдельной игре? Известно ли это на опыте? Ответ заключается в том, что абсурдно спрашивать, знает ли некто, что имеет определённое намерение. И то же самое верно относительно желания, мышления, надежды.

У слова «понимание» мог бы быть тот смысл, в котором слово указывает на состояние сознания, которое имеет место, пока делают ход в шахматах или употребляют слово. В этой связи сравните двух людей, один из которых ходит фигурами на доске механически, а другой ходит ими с пониманием. Но также есть смысл, в котором «понимание слова» означает знание его употребления. Последнее отлично от обладания состоянием сознания, хотя оба могут быть каузально связаны. Могут существовать состояния сознания, соответствующие каждой игре, но эти состояния не предполагают или не содержат правила.

Доказывалось, если некто, зная употребление слова, знает правила, то он обладает способностью предъявлять их по требованию. Эту способность можно рассматривать как психологическое состояние. Тогда возникает вопрос, что в этом случае представляет собой различие, которое я провожу между состоянием сознания и знанием правил? Мой ответ заключается в том, что выражение «психологическое состояние» двусмысленно. Различие между психологическим состоянием, подразумевающим способность предъявлять правила по требованию, и психологическим состоянием, подразумевающим особое чувство, параллельно различию между подсознательными и сознательными состояниями. Если вы возражаете, что знание употребления слова подобно ментальному процессу, сопровождающему слышание и произнесение слова, является состоянием сознания, то вы должны проводить различие между состояниями сознания и состояниями в *гипотетическом* смысле. Знание алфавита, шахматных правил или употребления слова не является состояниями сознания. Чтобы это увидеть, спросите себя, на что похоже знание алфавита всё время. Грамматика словосочетаний «знание алфавита» и «быть способным играть в шахматы» совершенно отлична от грамматики словосочетания «ощущение чего-то, когда вы ходите шахматной фигурой». Мы можем сказать, что «понимание слова» определённо употребляется двумя способами: для сопровождающего ментального процесса и для знания употребления слова. Грамматика словосочетаний «ощущение чего-то, когда мы слышим слово» и «знание употребления слова» совершенно различна. Чтобы видеть, каким образом различна, рассмотрим параллельный случай знания шахматных правил.

Теперь мы можем задать вопрос, полезно ли то, что я постоянно привожу примеры и сравнения. Причина заключается в том, что параллельные случаи изменяют нашу точку зрения, поскольку разрушают уникальность случая, имеющегося под рукой. Например, коперниковская революция разрушила идею, что Земля занимает уникальное место в Солнечной системе. Обратимся тогда к параллели между игрой в шахматы и пониманием слова и противопоставим грамматику словосочетания «знание шахматных правил» грамматике «обладание определённым ощущением во время игры в шахматы

с пониманием». Важно отметить, что автоматические ходы отличаются от тех же самых ходов, сделанных сознательно. Состояния имеют место, когда мы играем со знанием правил, в противном случае они не имеют места. Однако знание правил не является состоянием сознания. Например, знание применения слова «и» не является тем же самым, что «ощущение и», о котором говорил Уильям Джеймс. И знание употребления глагола «быть» в «Эта роза – красная» и в « $2 + 2$ есть 4» отличается от ментального события, соответствующего каждому его вхождению. Есть тенденция предполагать, что мы можем усвоить значение слова как целостность всякий раз, когда его понимаем.

5. Рассмотрим аналогию между кубом или пирамидой с одной окрашенной гранью, за которой находится невидимое тело, и словом, за которым стоит значение. Любое положение, в которое можно поместить эту грань, будет зависеть от положения находящегося за ней твёрдого тела. Мы склонны считать, что если мы знаем, что за окрашенной гранью находится куб, мы можем знать правила установления соответствия этой грани с другими гранями. Но это не верно. Нельзя вывести геометрию куба из его разглядывания. Правила не следуют из акта разумения. Аналогичным образом мы склонны считать, что можем вывести правила употребления слова из его значения, которое мы предположительно, схватили как целое, когда произносили слово. Это – ошибка, которую я бы исправил. Затруднение заключается в том, что в той мере, в которой мы схватываем значение без схватывания всех правил, кажется, что правила *могут* быть развиты из значения.

Сказать, что употребление слова, например слова «куб», следует из его значения, значит трактовать слово так, как если бы оно было видимой стороной скрытого тела, его значения, правила комбинации которого с другими скрытыми телами заданы законами геометрии. Можно ли геометрию кубов вывести из фигур? Говорит ли геометрия о кубах? Она, очевидно, не говорит о железных и медных кубах; но можно было бы утверждать, что она говорит о геометрических кубах. На самом деле геометрия рассматривает не кубы, но грамматику слова «куб», так же как арифметика рассматривает грамматику чисел. Слово «куб» определяется в геометрии, и определение не является пропозицией о вещах. Если мы изменяем геометрию, мы изменяем значение употребляемого слова, ибо геометрия конституирует значение. Если 457 умножалось на 63 и был получен иной результат, чем в обычной игре, это означало бы что «количественное число» употребляется в другом значении. Арифметические пропозиции ничего не говорят о числах, но предопределяют, какие пропозиции о числах имеют смысл, а какие – нет. Сходным образом, геометрические пропозиции ничего не говорят о кубах, но предопределяют, какие пропозиции о кубах имеют смысл, а какие – нет. Этот комментарий предполагает отношение между математикой и её применением, т.е. между предложением, задающим грамматику слова, и обычным предложением, в котором фигурирует слово.

Какую роль играет куб в геометрии куба и в развитии этой геометрии? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны провести различие между двумя видами исследований: исследованием свойств объекта и исследованием

грамматики употребления слова, указывающего на объект. Я хочу сказать, что геометрическое исследование, в смысле исследования свойств геометрических прямых линий и кубов, невозможно. Есть одна разновидность ошибки, которую важно рассмотреть из-за её распространённости. Она заключается в сравнимости реального и геометрического кубов. Геометрия не является физикой *геометрических* прямых линий и кубов. Она конституирует значение слов «линия» и «куб». Роль, которую куб играет в геометрии, – это роль *символа*, а не роль твёрдого тела, с которым приблизительно сравним реальный куб. Рисунки, подобные следующему



являются частью языка геометрии и играют роль символа в рамках геометрических доказательств. По этой причине безразлично, нарисованы ли они аккуратно.

6. Можно было бы подумать, что, если ментальный акт, сопровождающий слышание или произнесение слова, не может резюмировать значение слова в том смысле, в котором его определяют правила, ментальный акт теряет свою важность. Но он имеет важность в том, что иногда, например при понимании слова «красный», существенно иметь перед собой образ, скажем, когда приказывают скопировать особый красный цвет этой книги. Здесь одного слова «красный» недостаточно. В таком случае образ плюс слово будут функционировать как полный символ, за рамками которого нам более ничего не нужно. Помните, однако, что во многих случаях индивидуальный ментальный акт, оживляющий символ подобно тому, как душа оживляет тело, не является необходимым. Вместо воображения красного в некоторых случаях можно использовать образец красного пятна. Нет причины предполагать, что если красный образец есть всё то, что существенно для мышления красного, то воображаемая вещь лучше, чем видимая. Предполагать, что при мышлении необходимо вызывать образ, – это предрассудок.

Можно сказать, что, когда мыслят, со словами и образами проводят вычисления. Вычисление переходит от одного шага к другому без какого-то одного шага (ментального акта), содержащего другие шаги. Не существует ментального акта, превосходящего актуально предпринятые шаги. Поэтому при описании мышления отбросим ментальные акты и будем говорить просто об исчислении. Мышление не является чем-то таким, что сопровождает речь; оно может быть только речью. Некоторые люди представляют, что в языке слова следуют порядку мышления. Означает ли это, что существует процесс, сопровождающий слова?

Сравните два вопроса: «Вы подразумевали то, что говорили?», на который ответами являются «да» или «нет», и «Что вы подразумевали?», на который ответом является другое выражение. Таким образом, в этих вопросах у нас есть два употребления слова «под подразумевать». А что значит подразумевать то, что говоришь? Ваше утверждение, что вы подразумевали то, что

говорили, могут оправдывать вещи любого рода, но ни от одной из них не требуется быть ментальным процессом, сопровождающим слова.

В каких случаях вы сказали бы, что мыслите во время чтения? Это могло бы быть тогда, когда вы обладаете образом или когда вы способны позже записать то, что прочитали, не обращая внимания на образ. Понимание прочитанных предложений может быть множеством вещей, типа проявление внимания, воспоминание или всматривание в листок бумаги требуемого цвета, когда просят скопировать оттенок красного. Мы не должны путать личное переживание воспоминания с гипотетическим актом ментального записывания, предположительно сделанного тогда, когда вы вспоминали то, что прочитали. Затруднения, возникающие, когда мы мыслим о мышлении, желаниях и т.д., имеют один главный источник, тенденцию искать один процесс, который соответствует словам «желание» и «мышление», имеющий место в переживании желаний и мыслей и сравнимый с физической деятельностью, соответствующей слову «пишет» в предложении «Он часто пишет письма». То, что мы называем желанием, не является одной *деятельностью*, скрытой во всех случаях желания. Это не один процесс, подобный процессам писать и говорить, и вопросы, возникающие относительно желания, не представлены предложением «Он пишет...». Например, что значит желать, чтобы Смит пришёл? Можно ли желать в течение определённого времени? Слово «намерение» содержит ту же самую неясность.

В некоторых случаях бессмысленно спрашивать: «Вы уверены, что желаете именно это?», но есть *гипотетическое* употребление слова «желать», при котором имеет смысл спросить: «Вы уверены?» В случаях, где не уверены, чего хотят, один способ обойти поиски заключался бы в том, чтобы спросить, какого рода вещь *подтверждает* выражение «Я желал не этого». Подбрасывание монеты может определить, чего вы хотите, и прошлый опыт мог научить вас, что яблоко – это то, что удовлетворяет ваш голод. С помощью таких средств вы найдёте, является ли корректной гипотеза, что вы хотели то-то и то-то. Бывают, конечно, желания, при которых имеют одно определённое чувство, при других имеет место смесь чувств, при третьих нет определённого чувства. Чувства, сопровождающие желание, весьма смутны и грубы, они не локализованы; или, если локализованы, органичны. (Желая грушу, вы обладаете тем же самым чувством, что при желании яблока?) «Я сейчас хочу воды» может быть произнесено человеком с соответствующим чувством жажды; но слова «Я буду хотеть воды позже», вероятно, не будут иметь такого соответствующего им чувства, а чувство, которое им соответствует, при условии, что оно существует, едва ли можно описать.

То, что здесь говорилось об употреблении слова «желать», применяется также к словам «подразумевать» и «интерпретировать»: их не сопровождает никакое особое чувство. Понимание предложения с необходимостью не является своего рода прослеживанием предложения в воображении, хотя иногда случается, что такой процесс сопровождает произносимое или записываемое предложение. Иногда бывает аморфное чувство, которое не может быть переведено в предложение. Но это не всегда имеет место, поскольку иногда выражение мысли и есть мысль. Например, иногда предложение «Я ожидаю м-ра Смита» *является* ожиданием. Там, где желание специфической

вещи есть определённый процесс, можно смотреть на этот процесс и видеть, что желается. Здесь не может возникнуть вопрос типа: «Вы уверены, что это *то*, что вы желаете?»

7. Обычное возражение на то, что желание или понимание являются просто выражением желания или мысли, заключается в том, что мысль не является просто знаком; мысль интерпретирует знак. Мышление не есть произнесение или прочтение символов. Такое возражение укоренено во взгляде, что мышление, или некоторый процесс в сознании, сопровождается символами. Является ли этот предполагаемый процесс чем-то аморфным, состоянием, длящимся, пока предложение произносится, записывается или слышится? Возможно, он является чем-то артикулированным, так что понимание предложения состоит из ряда интерпретаций, одной интерпретации для каждого слова. Этот процесс был бы переводим в предложение, так что мы могли бы получить предложение из процесса или процесс из предложения. Но это только добавляет один феномен к другому.

То, что *чистая мысль* выражается словами и является чем-то отличным от слов, – *суеверие*. Мы просто введены в заблуждение, если предполагаем, что символ должен прежде всего выражать нечто ещё, скажем, образ, и что, когда отдан приказ, действуют, интерпретируя образ. Предположим, отдан приказ идти в определённом направлении. Вызванный образ этого направления, например



был бы интерпретацией. Но эта интерпретация не является необходимой, ибо, если можно создать эту интерпретацию, почему бы не действовать в соответствии со словами. Тот факт, что в двух различных языках мысль, выраженная предложением, является одной и той же, не означает, что можно заняться поисками выраженной им мысли. *Где* находится мысль? На этот вопрос можно ответить, если интерпретировать «где». В некоторых отношениях это похоже на вопрос: «Где находится визуальное пространство индивида?» «Где» не существует. Спрашивать об этом не имеет смысла. Если нерв укололи и визуальное поле исчезло, но затем вернулось, можно сказать, что это поле расположено в данной части, если известно, что подразумевается под «расположено». Определение местоположения может быть совершенно различным. В некотором смысле можно сказать, что «где» мысли находится в голове, но этот смысл не важен.

Есть ли достаточная причина противопоставлять процесс мышления процессу произнесения слов? Мы приучены говорить, что имеем затруднение с *выражением* мысли. Что происходит в этой ситуации? Иногда у нас есть образ, но мы можем делать много различных вещей, например жестикулировать, пока произносится слово. Точно так же существует огромное количество различных процессов, которые мы называем «поиском в своей памяти». Последняя фраза берётся по аналогии с «поиском в комнате». Очевидно, поиски в комнате отличаются от поисков в памяти. В случае первого

есть возможность охватить пространство так, что если искомая вещь найдется в комнате, то она будет найдена. Также о поиске в комнате мы можем сказать, что искомая вещь либо находится здесь, либо её здесь нет. Но этого нельзя сказать о памяти. Поиски в памяти сравнимы с зависимостью от механизма, который либо работает, либо нет, как надавливание на ряд кнопок, ни одна из которых не приводит к результату.

Я повторяю пункт, что тот факт, что два предложения выражают одну и ту же мысль, не означает существование вещи, являющейся мыслью, эфемерной сущностью, соответствующей предложениям. Но мы не должны отсюда делать вывод, что слово «мысль» в противоположность слову «предложение» не означает ничего. Эти два слова имеют различные употребления, так же как различные употребления имеют слова «король» и «фигура короля». Так же как относительно запятой мы не должны говорить: «Здесь запятая, а там её значение», так и со словом «слово». Оно имеет свою функцию – своё употребление.

8. Обратимся к следующей теме, волевое и безвольное движение. В чём различие между ними? Некоторые сказали бы, что оно заключается в наличии чувства. Но чувство не может быть сопровождением волевого акта, поэтому оно не служит тому, чтобы отличать одно от другого. Когда проявляют волю к действию, что является объектом проявления воли – видимый объект или сокращение мускулов? Мы должны отметить, что *проявление воли* и *желание* совершенно различны. Когда я говорю, что проявил волю поднять свою руку, я не имею в виду, что я просто очень сильно этого захотел и затем рука поднялась. Проявление воли – это не то, что происходит со мной; это то, что делаю я. Слово «желание» имеет гораздо более широкое употребление, чем слово «воля». Словосочетание «проявление воли» употребляется в связи с феноменами, связанными с нашими телами. Мышление, в противоположность проявлению воли, есть нечто такое, что происходит с кем-то, а не то, что делает кто-то.

II. Лекции и неформальные обсуждения в промежутках между диктовкой *Голубой книги*

9. Затруднения в философии постоянно встречаются в случаях, где утверждается что, существует особое состояние сознания, которое обозначается словом. Далее от состояний сознания переходят, скажем, к действиям, и философские затруднения становятся проще. Говоря о знании или воспоминании, я поэтому буду интересоваться значением слов «знание» или «воспоминание», которые близки, насколько это возможно, значению отдельного состояния сознания или некоторого числа состояний сознания. Однако нужно подчеркнуть, что в знание включено не одно отдельное состояние сознания, то же самое касается воспоминания. Действие поиска в памяти событий этого утра своеобразно. Оно явно отличается от воспоминания событий прошлой ночи. Аристотель утверждал, что когда мы думаем о будущем, мы устремляем взор вверх, а когда думаем о прошлом, потупляем взор. И вполне

возможно, что воспоминание частично заключается в состоянии наших мускулов или в ощущении в нашей шее. (Сравните с наблюдением Уильяма Джеймса, что «мы грустим, потому что плачем», что плач не является несущественным сопровождением аморфного состояния.) Возможно, происходит только то, что я говорю, что это помню, хотя обычно бывает своего рода сопровождение.

Нужно различать разные виды памяти. Одна разновидность протекает во времени кинематографически. Другая подобна образу, который дан весь сразу, но издала. Нам также необходимо учесть виды памяти, заключающиеся во вспоминании стихотворения или мелодии, а не некоторых событий прошлого. В этих случаях «помнить» – значит «быть способным воспроизвести». При вспоминании стихотворения дело обстоит не так, что мы вначале визуализируем напечатанное стихотворение, а затем произносим его. Мы просто начинаем его произносить, и загадка заключается в отсутствии какого-либо перехода. Если я готов пропеть «Боже храни короля», очевидно, дело обстоит не так, что все слова всплывают в моей голове до того, как я начинаю петь, всплывают максимум их отрывки. Но тогда каково различие между волеизъявлением пропеть «Боже храни короля» и волеизъявлением пропеть «Deutschland, Deutschland über Alles»? Различие могло бы заключаться в том, что (1) когда вас спрашивают: «Вы хотите спеть ‘Deutschland ...’?», вы отвечаете – Да, (2) вы готовы сделать это, (3) вы это поёте.

Подобно мышлению, желанию, воспоминанию и т.д., волеизъявление осуществить определённое действие *A* часто мыслится как особое состояние сознания. И возникает вопрос того же самого рода: Что волеизъявление сделать *A* должно делать с *A*? Что представляет собой связь между состоянием сознания и действием? Является ли она эмпирической? В волеизъявлении спеть «*A*» вы должны знать, что хотите сделать, поскольку нет последующей очевидности типа: «За этим состоянием сознания часто следует ‘*A*’». Предположим, мы употребляем слово «волеизъявление» в производном смысле, обозначая определённое состояние мускулов. Когда проявляют волю спеть песню в этом смысле, то, что хотят сделать, является вопросом опыта; ибо это может определяться экспериментом. Волеизъявление и то, что хотят сделать, связаны эмпирически. Но в обычном смысле волеизъявление и то, что хотят сделать, связаны не так. Если бы они были связаны так, имело бы смысл спросить: «Откуда вы знаете, что хотите сделать *A*?»

Если «волеизъявление» должно рассматриваться как состояние сознания и если вы хотите, чтобы не имело смысла спрашивать: «Вы уверены, что хотите спеть ‘*A*’», то знание, что вы проявляете волю, должно, так или иначе, заключаться в считывании с вашего волеизъявления того, что вы хотите сделать. Если бы существовал какой-то переход между волеизъявлением и тем, что вы хотите сделать, он, по-видимому, заключался бы как раз в этом считывании с вашего волеизъявления. Однако когда мы смотрим на то, что происходит, когда хотим осуществить акт, связующее звено между проявлением воли осуществить акт и осуществлением акта, по-видимому, утрачивается. Это отсутствие перехода загадочно. Мы чувствуем, что из-за утраты звена ведём себя как автоматы. По контрасту мы представляем, что отличительная

черта живого существа, говорящего, что оно проявляет волю, состоит в том, что оно настраивает своё сознание спеть «А», вспоминает «А» и затем поёт. Относительно существа, проявляющего волю сделать нечто, мы обладаем образом, в котором настраивание наших сознаний есть одно определённое действие. Будем ли мы допускать, что такой акт эмпирически связан с тем, что происходит? Нет. То, чего мы хотим, — это действие, при котором то, что мы продолжаем делать, уже *выполнено*. То есть волеизъявление должно содержать действие — волеизъявление петь вслух было бы похоже на пение про себя. Но здесь всё ещё должен быть осуществлён переход от молчания к пению вслух. Разве «А» ещё нет? Но заметим, что если «А» должно быть представлено в волеизъявлении спеть «А», когда «А» поют, оно также должно быть представлено в волеизъявлении спеть «А», когда «А» не поют. Сходным образом в желании или убеждении, что нечто является фактом, мы хотим, чтобы факт являлся своего рода тенью. Мы хотим, чтобы между волеизъявлением спеть «А» и пением «А» имел место призрачный переход, осуществляемый пением «А» про себя, настраиванием сознания спеть «А» или вспоминанием «А». Мы хотим также, чтобы посредник был между вопросом «Вы проявляете волю спеть ‘А’?» и ответом. Здесь тенью является *понимание*. По-видимому, мы всегда хотим, чтобы в волеизъявлении уже делалось то, что мы хотим сделать, и, сходным образом, для желания и того, что желается.

«Готовиться сделать то-то и то-то» в точности подобно «волеизъявлению», «желанию» и т.д. Относительно первого выражения можно представить ту же самую загадку, как и в случае последних. Мой метод заключается в том, чтобы взять параллельный случай, где первоначально никто не озадачивается, и получить относительно него ту же самую загадку, как и в случаях, которые озадачивают всегда. Готовиться сделать то-то и то-то и то, что должно быть сделано, совершенно различны. Мы все готовы это принять. Тем не менее мы ищем то, к чему готовимся, готовясь. Но если готовиться есть нечто отличное от того, к чему готовятся, что с этим делать? Каково отношение между тем, чтобы готовиться, и тем, к чему готовятся? Должны ли мы знать, что представляет собой то, к чему готовятся, рассматривая приготовление?

То, что мы готовимся сделать как раз это, не является гипотезой. Мы не говорим, что убеждены, что готовимся сделать это. Если «Я готовлюсь сделать это» означает только то, что я делаю нечто такое, что, как показал прошлый опыт, вероятно, было бы полезно, то наша загадка исчезла бы. Но мы не называем действие приготовлением к другому действию просто потому, что опыт показал полезность одного для другого. Требуется нечто большее. Один способ выйти из затруднения заключается в следующем: назвать, например, «приготовлением спеть ‘А’» записывание партитуры. Если некто знает, что теперь делается, и говорит: «Это и значит готовиться», вопроса не возникает. Случай, где есть определение того, в чём состоит приготовление, — это крайне упрощённый случай. Определение показывает, какой ответ можно было бы получить на вопрос: «Откуда вы знаете, что готовитесь к этому?»

Загадки не возникает в случае человека, готовящегося вставить резец в токарный станок, но только там, где мы рассматриваем выражение «гото-

виться к этому». Тогда мы спрашиваем: «Откуда он знает, что готовится к этому?» И если мы зададим этот вопрос, мы можем так же спросить: «*Разве он знает?*» Затруднение, заставляющее задать этот вопрос, то же самое: всё, что он делает, готовясь, отличается от того, что он готовится сделать. Критерием его знания, что он готовится спеть, мы могли бы назвать, например, его объяснение употребляемых им слов, – не приготовление, но объяснение. И это – грамматическое объяснение. Ответ, который он даёт, когда его просят объяснить, показывает, что означает вопрос «Знает ли он, что готовится сделать?». Сходным образом, критерием знания об ожидании, например знания моего ожидания, что Скиннер войдёт в комнату, является объяснение того, что подразумевается под «вхождением в комнату», и указание на Скиннера вне неё. Ошибка, которую мы склонны совершать, заключается в том, что мы думаем, что не знаем, чего ожидаем, если то, что ожидается, ранее не случилось, или думаем, что мы не знаем, что готовимся сделать, если то, к чему готовятся, ранее не сделано. Затруднение, встающее на нашем пути, заключается в том, что в нашем обычном языке фраза «готовиться к» употребляется как в случае, где соответствующее действие сделано, так и в случае, где оно не сделано, например когда готовятся спеть «А» и поют «А» и когда готовятся спеть «А» и не поют «А».

В этом заключается всё затруднение. Мы можем увидеть это лучше в параллельном случае отрицания: Не (этот стол зелёный). Как случается, что я выражаю факт, относящийся к этому столу, если говорю, что он не является зелёным? Сначала кажется, что предложение «Этот стол зелёный», которое предваряется отрицанием, не может иметь какого-либо значения, поскольку оно указывает на то, что не существует. Некоторые, поскольку они хотели избежать отрицания, говорили, что «не зелёный» означает то же самое, что и «коричневый, или красный, или голубой, или...». Но можно объяснить, что означают слова «стол» и «зелёный»; и этого достаточно. Можно возразить, что это объяснение не адекватно, что, хотя оно приближается к корректному объяснению, оно не вполне удовлетворительно. Затруднение заключается в том, что мы не видим, как употребляется слово «не»: утверждение «Этот стол зелёный» не является частью утверждения «Этот стол не зелёный». Чтобы пролить свет на это замечание, будем рассматривать отрицание в образном языке вместо словесного языка. То есть нарисуем образ вместо употребления слова «не». Каким образом вы должны повиноваться мне и откуда вы должны знать, что не делать, когда в этом языке я говорю: «При фехтовании не занимай эту позицию»? Предположим, при обучении гимнастике я показываю, что нужно делать, и вы копируете меня, когда я занимаю определённое положение. Я занимаю другое положение, чтобы показать вам, что вы можете делать всё, что хотите, но не это. То, что я сделал в этом языке для описания того, что должно быть сделано, является частью символизма. В этот язык «*р*» входит двумя способами: (1) как утверждалось и (2) в «не-*р*»; в одном случае в «Делай это», а в другом случае в «Не делай это». Ну и где проявляется «это»? Только в том, что я действительно делаю. Последнее является частью языка, и эта часть является вещественным знаком. Связь между мышлением того, что не имеет место, и того, что имеет место, находится в *знаке*.

10. Один из вопросов, который возникает при обсуждении памяти, заключается в следующем: Можно ли отождествить меня и моё тело? Можно утверждать, что «я» не употребляется для того, чтобы указывать на моё тело, поскольку две личности могут иметь одно и то же тело. Я хочу сказать, что понимание того, что слово «я» не означает то же самое, что и «моё тело», т.е. что оно употребляется иначе, не означает, что помимо тела обнаружена новая сущность, эго. Утверждение, что поскольку я не может быть отождествлено с *моим телом*, то должно существовать нечто ещё, создаёт впечатление описания открытия. Открыто же было только то, что «я» не употребляется тем же самым способом, что и «моё тело». Если бы я должен был сказать (чего я бы не сделал), что моё тело испытывает зубную боль вместо «Я испытываю зубную боль», это просто выражало бы нечто ошибочное. Это влекло бы, что не существует такой вещи, как я, и приводило бы к замене «я» на «моё тело». Это похоже на математика, говорящего (правильно), что нет такой сущности, как число, а затем ошибочно говорящего, что числа являются закорючками на бумаге.

Рассмотрим идею, что это есть своего рода совокупность воспоминаний. Предположим, что человек имел бы своеобразную память, что когда его спрашивают: «Что ты делал вчера?», он давал бы различные ответы в чередующиеся дни, в один день – описание дня до вчерашних событий, а на следующий день – описание событий на день позже, чередуя регулярность в своих ответах. Можно сказать, что здесь есть два человека. (Конечно, говорить, представляют ли собой м-р Джекил и м-р Хайд двух человек или одного, – это вопрос терминологии.) Предположим, что внезапно оба они продемонстрировали обычный феномен памяти. Здесь мы могли бы почувствовать склонность сказать, что один из них исчез. Сравни эту ситуацию с ситуацией человека с нормальной памятью, который не помнит, что происходило вчера, либо потому, что он весь день спал, либо потому, что у него не было причины запомнить. Никто не чувствовал бы склонность сказать, что он в этот день умер. В обоих примерах второе я ведёт себя *тем* способом, которым первое я вело себя в другие дни, второе я было бы склонно сказать, что оно является той же самой личностью. Другой критерий для отождествления личности мог бы использоваться в воображаемом случае расы людей, которые выглядят очень похожими друг на друга, за исключением цвета волос, интонации голоса и факта, что каждый из них имеет разное число морщин на лбу. Предположим, что каждый человек имеет определённый характер со специфическими чертами, такими как неторопливость и т.д., и что эти характеристики изменяются от тела к телу. Мы были бы склонны давать имя человека характеру, а не телу, которое им обладает. В таком мире, где группы черт переходили бы от тела к телу, любое смешение одного тела с другим, произносящим то, что обычно отвечает первое тело, преодолевалось бы вопросом о том, каковы воспоминания человека, и тем самым различия между людьми устанавливались бы посредством их памяти.

Предположим, на вопрос «Кто помнит прошлогоднее землетрясение?» некто отвечает: «Я», указывая на определённое тело. (Отметим, что относительно этого ответа не бывает гипотез, иначе он мог бы сказать: «Я думаю,

что тот, кто помнит, это я».) Считать, что указание на тело, когда отвечают «Я», является косвенным способом указания на себя, значит совершать странную ошибку, которую трудно объяснить. Она связана с пересчётом объектов в визуальном пространстве, в котором мы понимаем, что противостояим нашим телам. Мы можем считать тела, но как мы считаем себя самих? Что я противопоставляю самому себе? Поскольку имена других людей указывают на тела, что значит употреблять имена для самих себя? Мы склонны говорить, что имена для самих себя указывают на гипотетические сущности, связанные с телами. Но это ошибка. Предположение, что каждый из вас обладает самим собой, как и я сам, подобно предположению, что у каждого из вас есть шиллинг, хотя я не знаю, есть ли. Я только знаю, что у меня самого есть шиллинг. Грубо говоря, предположение, что у меня есть шиллинг, – это образ; акт предположения мог бы быть сделан посредством рисунка. Но что представляет собой предположение типа того, что каждый из вас обладает самим собой, как и я сам? Когда говорят о наличии я [selves] у других людей, мыслят некоторого рода пространственное отношение. Исследуем предположение, что у каждого из нас есть шиллинг, чтобы увидеть, насколько оно отличается от предположения, что у каждого из нас есть я [self]. Видите ли вы, что для первого предположения существенно, чтобы мы были способны изобразить шиллинг? Часть игры в предположение, что у других людей есть шиллинг, заключается в способности создать образ. Смысл слова «шиллинг» задаётся употреблением, которое мы создаём для этого слова, и часть того, что мы делаем с любым предположением, содержащим это слово, была бы демонстрацией изображения. Как мы употребляем предположение? Предположение не получает свой смысл «извне»; оно обладает им в исчислении, в котором употребляется. Предложение «У каждого из вас есть я» изначально звучит как предложение «У каждого из вас есть шиллинг». Но когда вы видите, насколько различными являются эти предложения, «У каждого из вас есть я» сразу же утрачивает свой интерес. То, что предположение об обладании я совершенно отличается от предположения обладания шиллингом, конечно, не означает, что предположение о наличии я у других людей, необходимо является бессмысленным. Оно может означать, что другие люди живы.

Предположим теперь, что в процессе сновидения я поменял своё тело и что это новое тело на вопрос «Кто видел сон?» отвечает: «Его видело я». Относительно того, видело ли его новое тело, и относительно того, *кто* его видел, вопроса бы не возникало. Предположим далее, я говорю: «Хотя я не могу вообразить других людей без их тел, я тем не менее мог бы вообразить себя без своего тела». Это могло бы выглядеть так, как если бы существовало своего рода знание, выразимое утверждением: «Я знаю, кто видел сон и где он находится, а именно в этом теле». Но имеет ли смысл сказать: «Если бы я не имел тела, я бы всё ещё знал, что тот, кто видел сон, был я». На что было бы похоже *знание*, что я видел сон, не обладая телом? Если бы я [selves] не имели тел, как мы могли бы понимать самих себя? Мы, конечно, могли бы вообразить, что голоса доносятся из разных мест. Но какое употребление имело бы слово «я» в той мере, в которой один и тот же голос мог бы слышаться в нескольких местах? Тот факт, что имеет смысл предполагать, что я меняю своё тело, но что не имеет смысла предполагать, что я

обладаю я [self] без тела, показывает, что слово «я» не может быть заменено на «это тело»; и в то же самое время он показывает, что «я» имеет значение только с указанием на тело. Параллель с шахматами состоит в том, что, хотя король не должен отождествляться с данным куском дерева, в то же самое время нельзя говорить о чистом шахматном короле, который не имеет соответствующего знака или символа. Употребление слова «я» зависит от переживаемой корреляции между ртом и некоторыми другими частями тела. Это ясно в случае, где критерий того, что человек испытывает боль, когда *его* щиплют за руку, заключается в том, что слова исходят из его рта. Всё это для того, чтобы показать, что «я» не имело бы значения без той корреляции, которую я пытался описать в случае, где, казалось, употреблялось слово «я» [а именно при воображении кого-либо без тела], но где более тщательное исследование показало, что это не так. Поскольку «я» и «это тело», подобно «шахматному королю» и «деревянной фигуре», не могут взаимозаменяться, не корректно говорить, что указание на это тело является косвенным способом указания на меня. Указание на это тело и указание на меня различны.

11. Когда я приводил пример об ощущении боли в зубе кого-то другого, это должно было показать, что при определённых обстоятельствах можно было бы попытаться избавиться от простого употребления «я». Моя идея заключалась в том, чтобы показать, что наше употребление этого слова предполагалось определёнными неизменными переживаниями и что если мы вообразим эти переживания изменившимися, обычное употребление слова «я» разрушается и мы видим, что система обозначения «я» не является единственной системой обозначения, которую можно использовать.

Упорствовать в идее, что, исключая нечто из нашего языка, мы тем самым искажаем другой язык, т.е. что изменения в нашем символизме являются реальными упущениями, – это недоразумение. Так, мы чувствуем, что если пропускается «я», оставшийся язык будет неполным. Мы считаем, что не полностью описываем феномен, если пропускаем личные местоимения, как если бы мы пропускали указание на нечто, на личность, на которую в нашем нынешнем языке указывает «я». Но это не так. Один символизм столь же хорош, как и другой. Слово «я» – это один символ среди других, имеющих *практическое* употребление, и он мог бы быть отброшен, когда бы не являлся необходимым для практической речи. Он не выделяется среди других слов, употребляемых нами в практической жизни, если, в отличие от Декарта, мы его не употребляем. Я пытаюсь убедить вас как раз в том, что противоположно картезианскому подчёркиванию «я».

Тем не менее мы чувствуем, что наш язык неадекватен для описания ситуации, в основе которой лежит неправильное понимание простого типа. Часто бывает переживание, когда пытаются дать описание того, что действительно видят, рассматривая, скажем, изменения неба, и чувствуют, что для описания этого слов недостаточно. Тогда испытывают соблазн разочароваться в языке. Мы сравниваем этот случай с тем, с чем он не может сравниваться. Это похоже на высказывание о каплях дождя: «Наше видение столь неадекватно, что мы не можем знать, сколько капель дождя мы видели, хотя мы, конечно, видели определённое число». Факт в том, что не имеет смысла

говорить о числе видимых нами капель. Сходная бессмыслица содержится в высказывании: «Это промелькнуло слишком быстро, чтобы я смог разглядеть. Оно могло бы двигаться медленнее». Но слишком быстро для чего? Разумеется, чтобы видеть то, что вы видели, оно не двигалось для вас слишком быстро. Что же могло подразумеваться выражением «Оно могло бы двигаться медленнее»?

12. Странно, что мы должны говорить о невозможности того, например, чтобы каминная доска могла быть жёлтой и зелёной одновременно. Кажется, что при обсуждении этой невозможности всё выглядит так, как если бы мы постигали непостижимое. Когда мы говорим, что вещь не может быть зелёной и жёлтой одновременно, мы исключаем нечто, но что? Если бы мы обнаружили нечто, что описали бы как зелёное и жёлтое, мы сразу же сказали бы, что это не является невозможным случаем. Мы исключаем не какой-то случай вообще, но скорее употребление выражения. И то, что мы исключаем, не имеет видимости смысла. Большинство из нас считает, что есть бессмыслица, имеющая смысл, и бессмыслица, которая его не имеет, т.е. бессмысленность высказывания «Это является жёлтым и зелёным одновременно» отличается от бессмысленности высказывания «Аб сюр ах». Но это – одна и та же бессмысленность, единственное различие в звучании слов.

Правила употребления слов могут исключать определённые комбинации двумя способами: (1) когда то, что исключается, осознаётся как бессмысленное, как только оно слышится; (2) когда требуются действия, позволяющие нам осознать, что это является бессмысленным. Факт, что отрицание комплексной тавтологии является противоречием, открывается теми же самыми средствами, с помощью которых обнаруживается истинность того, что $x^2 + 6x = 7$ имеет два целых корня, а именно с помощью операций. Мы можем считать, например, что « S имеет x пар туфель, где $x^2 = 2$ » имеет смысл, поскольку у нас было бы чувство, что мы можем получить смысл из решения квадратного уравнения $x^2 = 2$. Отсутствие видимого результата – это одна из причин считать, что мы можем назвать это предложение бессмыслицей иного рода, чем «столы, стулья, туфли». Слово «бессмыслица» используется для того, чтобы исключить определённые вещи, и для иных причин. Но невозможен случай, при котором выражение исключается, однако исключается не вполне – исключается потому, что оно обозначает невозможное, и исключается не вполне, потому что при исключении мы должны мыслить невозможное. Мы исключаем предложения типа «Это – как зелёное, так и жёлтое», потому что мы не хотим их употреблять. Конечно, мы можем придать этим предложениям смысл. Ранее я говорил, что возможность и невозможность произвольны. Мы можем, например, задать правило, чтобы выражение «возможность быть зелёным и жёлтым в одном и том же месте одновременно» имело смысл.

13. Мы склонны к тому, чтобы мыслить возможность как нечто имеющее место в природе, как нечто такое, что мы способны вообразить. Грубо говоря, когда говорят о возможности, создают употребление образу. Когда мы говорим: «Это – возможно», реален определённый образ. Предположим, что,

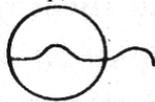
когда я говорю о своей возможности пропеть «Боже храни короля», я визуализирую реальное положение вещей. Визуализируемое положение вещей есть употребляемый образ. Но могут спросить: «Это образ чего? Того, что не существует?» Есть затруднения, которые важно видеть. Как получается, что когда мы говорим о возможности определённой вещи, зная только то, что возможно, а не то, что действительно имеет место, мы, однако, можем знать, тенью чего является возможность? Мы склонны говорить о возможности того, что присутствует потенциально. Предложение «Присутствует потенциально» создаёт впечатление, как если бы мы задали объяснение сверх и помимо высказывания, что для нас возможно делать определённые вещи. Но на самом деле мы просто заменили одно высказывание другим. Сходным образом, если слово «не» объясняют, говоря, что не-р является истинным, когда р является ложным, происходит только замена «не-р является истинным» другой фразой. Мы можем прояснить одно слово посредством другого слова только постольку, поскольку мы проясняем его грамматикой другого слова. Слова «не» и «отрицание» соотносимы настолько, что мы могли бы заменить употребление одного употреблением другого. Ошибка, которую мы склонны совершать, заключается в мысли, что одно слово, скажем «отрицание», описывает феномен, с которым должна соотносываться грамматика другого слова. Но грамматика одного слова должна соотносываться с грамматикой другого слова, а не с феноменом. Наша идея заключается в том, что мы устанавливаем стандарт употребления в природе, но фактически мы лишь устанавливаем стандарт употребления в грамматике.

14. Мы не можем сказать о грамматическом правиле, что оно соотносится с фактом или ему противоречит. Правила грамматики независимы от фактов, которые мы описываем в нашем языке. Сказать, что грамматическое правило независимо от фактов, значит просто напомнить нам нечто такое, что мы могли бы забыть. И указание на это должно предупредить нас от особых заблуждений.

С помощью примера, где, вероятно, не должно возникать недоразумение (а именно протяжённость рейки, которая служит в качестве единицы длины), мы можем объяснить, в каком смысле длина является произвольной, а в каком – непроизвольной. В том смысле, в котором выбирают эту, а не ту протяжённость из-за практических соображений, длина, очевидно, не является произвольной. Здесь смысл высказывания, что она является произвольной, должен предотвратить одно особое непонимание [а именно, что конвенции могут согласовываться или не согласовываться с фактами]. Плиний говорил, что после числа 10 числа повторяются. Он считал, что числа повторяются из-за способа, которым они записываются, это последнее предопределено фактами вычисления. Это ошибочно, ибо система счисления произвольна. С точки зрения Плиния, иная система записи не согласовывалась бы с фактами вычисления, потому что она отличается от его системы, которая предположительно согласуется с ними. Ту же самую ошибку, которую Плиний совершает относительно чисел, можно преобразовать в ошибку относительно длин, а именно, что после определённой точки, скажем 12 дюймов, длины повторяются.

Некоторые предложения являются пропозициями, другие предложения выглядят как пропозиции и ими не являются. И неважно, зависят ли они от конвенций или же нет. Что представляют собой конвенции, предопределяющие, что предложение является пропозицией? Предложения, которые сами устанавливают конвенции, по-видимому, не являются пропозициями. Тем не менее мы склонны считать, что они должны соотнобразовываться с определёнными фактами, и в этих случаях они не были бы произвольными. Рассмотрим высказывание об основных цветах. Предположим, что всё, что называется цветом, является одним из этих шести цветов или их смесью. Это означает, что в нашей грамматике цветов не имеет смысла говорить о седьмом основном цвете, поскольку у нас есть только шесть слов для основных цветов. Выражение «основной цвет под номером семь» не имеет значения. Некоторые сказали бы, что это означает, что грамматика слова «цвет» должна соотнобразовываться с определёнными фактами природы. Но между «Не существует седьмого основного цвета» и «Не существует человека, которому могли бы быть впору костюмы шести размеров» параллелизма нет. Вполне можно было бы спросить: «Почему бы не иметь седьмой основной цвет, если грамматика слова «цвет» произвольна?» Ответом был бы другой вопрос: А новая схема будет входить в конфликт с наблюдаемыми законами? Как она могла бы войти в конфликт? Факт природы не в том, что семь основных цветов не могут быть упорядочены на гранях правильного многогранника. Разумно было бы спросить, существует ли какое-то употребление для выражения «седьмой основной цвет».

Предложениям, которые по существующей конвенции не имеют смысла, например, что человек путешествует вокруг земли по следующему маршруту



можно, конечно, придать смысл. Это связано с тем, что всему, что говорится, можно придать смысл, который, согласно принимаемым конвенциям, называется произвольным. Можно возразить, что хотя этому *можно* придать смысл, одна часть грамматики должна быть аналогична другим частям. Исследуем это требование. Предположим, некто сказал, что поскольку наше пространство имеет три измерения, мы можем описать путь частицы, увеличивая и уменьшая три координаты, а не четыре. Он будет утверждать, что это накладывает ограничение на нашу грамматику, поскольку иметь три измерения заключается в природе пространства. Я бы ответил: «А разве четыре измерения не столь же хороши? Четвёртая переменная могла бы выражать темноту и свет. Если частица становится темнее, четвёртая переменная получает более низкое значение». Другой пример описания того, как придается смысл: *S* говорит, что наука и религия приходят к всё большему согласию, поскольку четвёртое измерение облегчает понимание того, как Христос входит в комнату, не проходя через дверь. Он входит через четвёртое измерение. *S* считает, что это объяснение делает утверждение более лёгким для понимания. И, конечно, оно *могло* бы быть описано в этих терминах. Предположим, за четвёртое измерение мы принимаем время, измеряя с помощью

часов пункт, где находится Христос. То, где Он находится пространственно, можно было бы описать тремя измерениями, а то, где он находится между исчезновением и появлением, посредством четвёртого измерения. Некто мог бы возразить, что он хочет, чтобы новая грамматика была аналогична старой. Так, пусть аналогия устанавливается при рассмотрении формулы, задающей расстояние, типа $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}$. Это, конечно, не единственная вещь, которую можно было бы назвать аналогичной расстоянию с тремя измерениями. Обычно бывает одна аналогия, к которой психологически апеллирует большинство из нас. Мы можем делать всё, что нам угодно, но мы увидим, что некоторые конвенции слишком громоздки для употребления. Являются они громоздкими или же нет, зависит от нашей природы и природных фактов, например, что тела не исчезают в одном месте, появляясь в другом. Если бы казалось, что это происходит, мы могли бы сказать, что наше зрение нас обманывает, но нам *не нужно* этого говорить.

15. Вернёмся к обсуждению общего понятия пропозиции. Получили ли мы какое-то общее понятие? Что бы мы делали, если бы должны были объяснить, что такое пропозиция? Не все пропозиции имеют нечто общее, они представляют собой семью вещей, имеющих перекрывающиеся сходства. Мы можем образовать подгруппы этой семьи, например гипотезы типа: «Вон там есть окно», и, наоборот, описания непосредственного переживания типа: «Я вижу светлое пятно на тёмном фоне», которые образуют другую группу. Что я подразумеваю под описанием непосредственного переживания? Я приводил примеры, но в каком смысле я получил общее понятие, которое ограничивает эту группу? Когда меня просили образовать группу в рамках этой семьи, я лишь приводил и мог привести примеры. Возникают два вопроса: Имел ли я право говорить об этой группе, не давая общего объяснения? В каком смысле я обладаю общей идеей этой группы помимо приведённых примеров? Общая идея, которая не является общим символом, не имеет употребления. То есть любая общая идея, которую по моему утверждению я имею о пропозиции, описывающей непосредственное переживание, не имеет употребления, если она не употребляется как символ. Если она рассматривается как образ или гипотетическое состояние мозга и не используется в символизме, она безынтересна. Моя процедура заключается в том, чтобы смотреть на употребление, созданное этой идеей, идеей *пропозиции, описывающей непосредственное переживание*. Употребление этой идеи объяснялось примерами. Эти примеры не являются способом приблизительного описания. Аналогичным образом я поступаю при ответе на вопрос: «Какова ваша идея формулы?» Я объясняю, что я подразумеваю под формулой, записывая формулы. Слово «формула» и приведённые формулы не показывают ничего другого. Когда вы говорите, что понимаете слово «формула», я могу обвинить вас в том, что вы меня не понимаете, если то, что вы делаете, противоречит моему объяснению.

Слово «пропозиция» объясняется тем способом, которым объяснялись слова «игра» и «смысл», группировкой примеров. Примеры дают достаточно ясную идею. Человека, который прочертил границу, по определению можно

было бы считать имеющим более ясную идею. И, если вам угодно, вы можете дать определение; но обычно этого не делают.

Казалось, что, хотя мы не можем сказать, что такое пропозиция с точки зрения общего определения, мы можем употреблять общую идею, имеющуюся у нас в исчислении. Фреге и Рассел создали исчисление, которое выглядит как *то* исчисление, которое лежит в основании правильного употребления языка. Логики, по-видимому, давали чёткие определения, тогда как я объяснял идею пропозиции, лишь приводя примеры. Каким образом то, что делал я, сравнимо с чёткой идеей, о которой говорят логики? Логическое исчисление является достаточно чётким, но оно не является фундаментальным и не применяется повсеместно. Ибо определение к одним вещам применимо вполне, а к другим – не очень.

16. Запись « $(x)fx$ » исчисления Рассела, означающая «для всех вещей имеет место то-то и то-то», для того чтобы иметь смысл, нуждается в исследовании каждого примера. Изначально она принималась для символизации высказываний обыденного языка типа: «Все люди смертны» и «Все люди здесь носят серые брюки». Затем она была расширена с тем, чтобы говорить о «всех числах ряда количественных чисел», «всех точках поверхности», где применяется совершенно иная грамматика. Грамматики общности и отрицания невероятно двусмысленны. Предположим, я перевожу «Этот квадрат – белый» в «Все точки этого квадрата являются белыми». Согласно Расселу, это сводилось к тому же самому, что и «Не существует вещи, которая является точкой в этом квадрате и не является белой». А «Этот квадрат не весь белый» сводилось бы к «Существует по крайней мере одна точка, которая является не белой». И на что *похоже* для *одной точки* быть не белой? Мы можем *придать* этому смысл. Но когда мы переводим «Этот квадрат – белый» в «Все точки являются белыми» мы не можем без дальнейших соглашений придать смысл выражению «Одна точка является не белой». Чтобы увидеть различие среди грамматик, спросите себя, как бы вы устанавливали истинность пропозиций типа: «Все точки являются белыми» и «Во всех окружностях в квадрате есть чёрная точка посередине». И в случае « $(x)fx$ », и в случае « $(\exists x)fx$ » Рассел рассматривает « x » внутри скобок как то, что обозначает *вещь*. В каком смысле можно говорить: «Существует *вещь*, которая является чёрной точкой и которая находится в этом квадрате»? Рассел говорит: «Я встретил человека» = «Я встретил вещь, которая является человеком», а «Все люди носят серые брюки» означает «Все вещи, которые являются людьми, носят серые брюки», или, наоборот, «Не существует такой вещи, которая является человеком и не носит серые брюки». Можно ли говорить о *вещи*, которая является человеком? И необходимо ли рассматривать все вещи, чтобы определить, что не существует вещи, которая является человеком и не носит серые брюки? « x » внутри скобок обозначает человека, а не вещь.

Подобно слову «все», отрицание также имеет различные грамматики. Задавался вопрос, приводит ли отрицание пропозиции к тому же самому, что и дизъюнкция пропозиций. В определённых случаях это так, например: «Эта вещь одного из основных цветов, но не красного», что означает: «Это вещь

белая, или жёлтая, или зелёная, или синяя, или чёрная». Но не существует дизъюнкции, соответствующей: «Смита нет в этой комнате». «И так далее» предполагаемого перевода «Смит там, или там, или... и так далее» не является дизъюнкцией.

17. То, что называется возможным, и то, что не называется возможным, имеет произвольный смысл. Мы говорим, что хотя никто не сидит на этом стуле, кто-нибудь мог бы сидеть. Приблизительно это означает: «Предложение “Кто-нибудь сидит на этом стуле” имеет смысл», т.е. существует логическая возможность, что кто-то на нём сидит. Теоретически возможно, т.е. возможно в теории, для какого-нибудь водорода иметь нормальную валентность равной шести. Это может быть возможным в некоторой теории, но непрактично. Некоторые теории – практичны, некоторые – непрактичны. Непрактичная система отбрасывается, и это отбрасывание трактуется так, как если бы то, что отбрасывается, было чем-то ложным. Отбрасывание грамматической системы подобно отбрасыванию стандартной длины [а принятие грамматики (символизма) подобно принятию стандартной длины]. Рассмотрим другое сравнение: Каждая пропозиция является образом реальности. Здесь, при сравнении с образом, мы получаем расширение употребления слова «образ», которое мы весьма склонны принять. Такие расширения могут быть очень ценны при демонстрации переходов между примерами, ибо примеры из некоей семьи на окраинах выглядят различно. То, на что похожа семья, например семья растений, будет зависеть от того, что мы принимаем за стандарт.

Ошибка, которую мы хотим избежать, заключается в следующем. Когда мы отбрасываем некоторую форму символизма, мы склонны смотреть на неё так, как если бы мы отбросили пропозицию в качестве ложной. Ошибочно трактовать отбрасывание единицы измерения так, как если бы оно было отбрасыванием пропозиции «Стул – три фута высотой, а не два». Это недоразумение пропитывает всю философию. С этим же самым недоразумением связано рассмотрение философских проблем так, как если бы такие проблемы имели дело с фактами мира, а не с сущностью выражения.

Я указывал, что между отбрасыванием гипотезы как ложной и отбрасыванием символизма как непрактичного есть различие. Но от одного к другому есть переход. Предположим, что планета, которая согласно определённой гипотезе описывает эллипс, фактически этого не делает. Тогда мы сказали бы, что должна существовать другая, воздействующая на неё невидимая планета. Скажем ли мы, что наши законы орбиты правильны и что мы просто не видим воздействующую на неё планету или же что они ошибочны, – это произвольно. Здесь у нас есть переход между гипотезой и грамматическим правилом. Если мы говорим, что, независимо от сделанных нами наблюдений, поблизости есть планета, мы устанавливаем это в качестве правила грамматики; оно не описывает опыт. Нас могли бы заставить внести сомнительное изменение. Для описания этого мы должны были бы смоделировать всё остальное. (Рассмотрим изменения, требуемые для принятия гипотезы, что в этой комнате есть гиппопотам.) Для иллюстрации различных ролей пропозиции и правил грамматики предположим, что стандартом фута длины

была бы рейка, находящаяся в моей комнате, и предположим, что рейка в Гринвиче в точности соответствовала бы этой рейке. Тогда сказать: «Рейка в Гринвиче действительно имеет фут длины» – значит утверждать пропозицию, однако в настоящее время говорить это не имеет смысла. Это – определение.

Мы можем провести различие между гипотезой и грамматическим правилом с помощью слов «истинный» и «ложный», с одной стороны, и «практичный» и «непрактичный» – с другой. Мы не говорим о пропозициях как практичных и непрактичных. Слова «практичный» и «непрактичный» характеризуют правила. Правило не является истинным или ложным. Но относительно гипотез мы употребляем обе пары слов. Один человек говорит, что гипотеза является ошибочной (когда он не склонен переделывать остальное), другой говорит, что она непрактична (сознавая, что он может переделать остальное). Решение, используется ли предложение как гипотеза или как грамматическое правило, подобно решению, является игра шахматами или же вариацией шахмат, отличающейся новым правилом, введённым на определённой стадии игры. Пока мы не дошли до этой стадии, нет способа сказать, какая игра разыгрывается, глядя на эту игру.

Предположим, некто изучал механику таким способом, что все вычисления были сделаны с помощью трёх законов движения и закона Даламбера. Предположим, он преобразовал эти законы и обнаружил закон преобразования энергии. Здесь мы можем спросить, открыл ли он новый раздел механики или же новый раздел математики? При условии описания феномена согласно законам Ньютона другое описание не будет названо открытием в механике, если оно непрактично. Но оно может быть новой *математикой*. Он создал новую игру.

Бывают случаи, в которых мы склонны назвать нечто новым разделом механики. Рассмотрим механику Герца, которая заменяет три закона Ньютона единственным законом – формой закона инерции, а именно, что система материальных точек или покоится или движется с равномерной скоростью по прямой линии (последняя уже определена). Предположим теперь, что некто построил механику на трёх законах. Мы можем сказать: «Это – новая механика, она построена на основе механики Герца». Но это является новым разделом математики. Новый раздел математики и новый раздел механики не должны смешиваться. Смешивать их – значит трактовать математику так, как она трактуется в современных основаниях математики – как если бы она могла быть редуцирована и редуцировалась, а не так, как если бы она была чем-то новым. Мы не можем редуцировать математику; мы можем лишь создать новую. Может быть редуцирован размер доказательств, но не корпус математики. То же самое может быть сделано относительно шахмат. Предположим, что шахматы определяются ходами фигур и что обнаружился новый способ создания определённого хода. Это не редуцирует старую игру, а создаёт новую.

Для демонстрации того, что мы делаем в философии, я сравниваю разыгрывание игры по правилам с простым разыгрыванием игры или с разыгрыванием игры способом, который является переходом между этими двумя. То, на что мы смотрим, – это употребления языка, сравниваемого с игрой, ра-

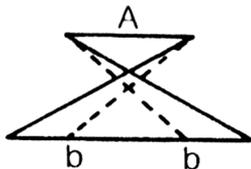
зыгрываемой согласно правилам. Полезно выявить два крайних случая: употребление предложения в качестве гипотезы и употребление предложения в качестве грамматического правила.

18. Законы логики, например законы исключённого третьего и противоречия, произвольны. Это утверждение является несколько отталкивающим, но тем не менее истинным. При обсуждении оснований математики тот факт, что эти законы произвольны, является важным, ибо в математике противоречие – это источник страхов. Противоречие является пропозицией формы p и $\neg p$. Запретить его возникновение – значит принять одну систему выражения, которая может себя высоко зарекомендовать. Это не означает, что мы не можем использовать противоречие. Фактически оно, например, употребляется в утверждении «Мне это нравится и не нравится». Относительно возражения, что слово «противоречие» не употребляется в применении к случаям типа: «Я делаю» не противоречит «Я не делаю», я принимаю, что оно истинно, если мы принимаем нашу систему в качестве первичной. Если мы говорим, что вещь *не может* в одно и то же время быть и красной и не-красной, мы подразумеваем, что в *нашей* системе мы не придали этому какого-либо значения. Принятие системы выражения подобно принятию измерительной рейки. Описывая применение рейки в определённых случаях, мы оставляем открытым способ, которым она должна использоваться в аналогичных случаях. Мы можем подразумевать под реальной длиной тела ту длину, которую измерительная рейка, сделанная из железа, будет показывать, когда она имеет ту же самую температуру, что и тело. Или мы *могли бы* назвать реальной длиной все различные результаты при разных температурах. Возражение, что «Мне это нравится и не нравится», не является случаем, к которому применяется слово «противоречие», параллельно возражению, что измерительная рейка бесполезна, если она не является твёрдой. Но в некоторых случаях нам может *потребоваться* эластичность. И противоречивая последовательность, о которой можно сказать, что она вообще не является последовательностью, могла бы использоваться, чтобы создать неопределённость. Почему бы математике не быть полной противоречий? Мы часто используем двойное отрицание $\sim\sim p$, чтобы обозначить $\sim p$. Человек, который говорит, что мы не подразумеваем его таким образом, говорит, что существуют различные виды двойного отрицания. Последнее означает, что двойное отрицание трактуется как факт природы, который в одном случае даёт отрицание, а в другом – нет. Закон противоречия можно, но не нужно употреблять как закон нашего выражения. С противоречием можно иметь дело в математике либо как с чем-то запрещённым, либо как с чем-то дозволенным. $2 + 2 = 4$ и $2 + 2 = 5$ вместе могут быть бесполезны, но не ложны. Вместе они дали бы новую математику.

Я хочу дать дальнейший комментарий на отбрасывание выражения «Мне это нравится и не нравится», считающегося противоречивым, на возражение, состоящее в том, что если мы его употребляем, мы не можем употреблять его тем же самым способом, которым мы употребляем обычное непротиворечие. Но что вы *не можете* сделать? И что за препятствие вам мешает? Слово «применение» выявляет ваше возражение. Вы говорите: «Мы можем

создать систему знаков, использующую ‘*p* и не-*p*’, но применение будет другим». Но как вы можете говорить о системе знаков, не говоря о применении, как если бы применение закона противоречия было независимым от этого закона? Предположим, я сказал, что мои ладони полностью накрывают друг друга, когда я совмещаю их одним способом, но не другим. Предположим, затем я сказал, что они накрывают друг друга в обоих случаях. Некто возразил бы, что «накрывают» в последнем случае употребляется другим способом. Я бы спросил: «Ты как хочешь объяснить ‘накрывают’, со ссылкой или без ссылки на то, что накрывается?» В высказывании, что две ладони не могут накрывать друг друга тем же самым способом при различном наложении, определялось ли слово «накрывать» независимо?

То же самое возражение и те же самые вопросы возникают при следующем обстоятельстве. Вы возражаете, что арифметика, в которой $2 + 2 = 5$ не может применяться тем же самым способом, которым может применяться $2 + 2 = 4$. Определялся ли «тот же самый способ»? Опять-таки предположим, я сказал: «Если человек так же невысок, как я, он может пройти через дверной проём, но если он 8 футов роста, он мог бы также пройти через него, но не тем же самым способом». Если я могу разумно употреблять фразу «тем же самым способом», то этот способ должен был быть задан мне независимо от понятия прохождения через дверной проём. Проиллюстрируем этот пункт другим примером. Предположим, я проецирую длину *A* на линию, находящуюся ниже,



и утверждаю, что смог бы также спроецировать её на *b-b*. Кто-нибудь возразит, что я не могу сделать этого тем же самым способом. Но что такое тот же самый способ? Он оставил лазейку в своём *выражении*. Если моё описание проекции не описывает всей фигуры, т.е. если способ, которым я проецировал *A* не достигает проецируемой линии, то у меня должны быть проецируемая линия, проекция и способ проекции. Если, с другой стороны, под словом «способ» [way] я предполагал всю фигуру, то осмысленно нельзя сказать, что я не смог бы спроецировать её на *b-b* тем же самым способом. Фраза «способ» должна применяться к обоим случаям, для того чтобы имело смысл сказать, что здесь этот способ нельзя принять.

Вернёмся к возражению, что «Мне это нравится и не нравится» не употребляется тем же самым способом, что и противоречие. Что же мы называем законом противоречия? – формулу или формулу плюс применение? Если мы подразумеваем последнее, то мы не можем говорить о применении так, как если бы оно было независимо от закона. Слово «способ» соответствует слову «аналогичное», означающему «нечто другое», а не ту же самую вещь ещё раз. Мы не можем объяснить «способ» [way] независимо, если способ *включён* в то, что описывается. Если мы говорим, что не можем приме-

нять логику, в которой допускается противоречие, *тем же самым способом*, то в заблуждение вводит то, что, как кажется, должно существовать препятствие. Слово используется для того, чтобы нечто оставить открытым, и в то же самое время, чтобы это нечто закрыть. По-видимому, предполагается, что путь [way] описывался, но что нельзя достичь его конца. На самом деле путь не описывался. Нельзя обоснованно возразить, что конец пути не достигнут, если, задавая путь, задают также и конец пути. Нет смысла говорить о пути, если есть только один конец, а другой конец устранин. Употребляя слово «другой», вы обеспечиваете лазейку и устраняете её.